# Принц богемы

# Оноре де Бальзак

ГЕНРИХУ ГЕЙНЕ.

Дорогой Гейне! Вам посвящаю я этот очерк, Вам, который в Париже представляет мысль и поэзию Германии, а в Германии — живую и остроумную французскую критику; Вам, который лучше, чем кто-либо другой, поймет, что здесь от критики, от шутки, от любви и от истины.

Де Бальзак.

— Дорогой друг мой, — сказала г-жа де ла Бодрэ, доставая из-под подушки козетки рукопись, — простите ли вы мне, что вследствие печального положения, в котором мы находимся, я сделала рассказ из того, что слышала от вас несколько дней назад?

— В наше время все идет в дело, — ответил Натан. — Разве вы не встречали сочинителей, которые, за недостатком фантазии, преподносят публике историю собственного сердца, а нередко — также и историю сердца своей любовницы? Дойдет до того, моя дорогая, что станут искать приключений не столько ради удовольствия играть в них роль героев, сколько ради возможности их пересказать.

— Во всяком случае, вы и маркиза де Рошфид оплатили нашу квартиру, а если принять во внимание все происходящее, я не думаю, что мне когда-нибудь удастся сделать для вас то же самое.

— Кто знает, быть может, и вам улыбнется счастье, как госпоже де Рошфид.

— Вы полагаете, что вернуться к мужу — значит обрести большое счастье?

— Нет, но это значит обрести большое состояние. Начинайте же, я слушаю.

Госпожа де ла Бодрэ приступила к чтению.

— «Место действия — роскошный салон на улице Шартр дю Руль. Один из самых прославленных писателей нашего времени сидит на козетке рядом с известной маркизой, с которой он близок, как должен быть близок человек, отмеченный вниманием женщины, которая держит его возле себя не столько за неимением лучшего, сколько как снисходительного patito[[1]](#footnote-1).

— Ну как, — спросила она, — отыскали вы письма, о которых говорили мне вчера и без которых не могли рассказать мне обо всем, что *его* касается?

— Письмо со мной.

— Тогда говорите. Я буду слушать внимательно, как ребенок, которому мать рассказывает сказку о «Большом крылатом змие».

— Молодой человек, о котором пойдет речь, принадлежит к числу хороших моих знакомых, каких обычно называют приятелями. Он дворянин, юноша необыкновенно остроумный и столь же несчастный, полный самых благих намерений, очаровательный собеседник, несмотря на свою молодость, уже немало повидавший; в ожидании лучшего он ведет жизнь *богемы*. Богема, взгляды которой следовало бы назвать философией Итальянского бульвара, состоит из молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет; все они в своем роде гениальны, хотя пока еще мало известны; но они еще проявят себя и будут тогда людьми заметными. На них уже и теперь обращают внимание в дни карнавала, когда их остроумие, не находящее применения в другое время года, ищет себе выхода в забавных выдумках и причудах. В какое время мы живем! До чего нелепа власть, которая заставляет прозябать такие огромные силы! Среди богемы нашлись бы дипломаты, способные опрокинуть расчеты России, если бы они почувствовали поддержку французского государства. Там можно встретить писателей, администраторов, военных, художников, журналистов. Словом, это — микрокосм, и в нем представлены все виды ума и дарований. Если бы русский император, потратив миллионов двадцать, купил нашу богему (допустим, что она согласилась бы расстаться с парижскими бульварами) и переселил бы ее в Одессу, то через год Одесса стала бы Парижем. Так бесплодно сохнет цвет великолепной французской молодежи; и Наполеон, и Людовик Четырнадцатый приближали к себе молодежь, но вот уже тридцать лет ею пренебрегает наша жеронтократия[[2]](#footnote-2): при этой власти все во Франции чахнет. Это — та прекрасная молодежь, о которой профессор Тиссо[[3]](#footnote-3), человек, вполне заслуживающий доверия, еще вчера говорил: «Услугами этой поистине достойной его молодежи император пользовался повсюду — в советах, в важнейших государственных органах, в исполненных трудностей и опасностей переговорах, поручениях, делах, в управлении завоеванными странами, и всюду она оправдывала его ожидания. Молодежь была для него тем же, чем missi dominici[[4]](#footnote-4) были для Карла Великого». Само слово «богема» говорит вам все: богема живет тем, что у нее есть, а у нее нет ничего. Ее религия — надежда. Ее кодекс — вера в себя. Основа ее бюджета — пресловутая любовь к ближнему. Эти молодые люди выше своих несчастий. Не имея средств, они находят средства бороться с судьбой, живя «на авось», они остроумны, как фельетонисты, и веселы, как люди, которые кругом в долгах, ну, а в долг они берут столь же часто, как и пьют! И, наконец, к чему я и веду, — все они влюблены. Но как влюблены! Представьте себе Ловласа, Генриха Четвертого, Регента, Вертера, Сен-Пре, Ренэ, маршала Ришелье в одном лице, и тогда вы получите представление об их любви! Что это за влюбленные! В страстных чувствах они, неисправимые эклектики, могут угодить любой женщине. Их сердце напоминает ресторанное меню. Сами того не ведая, они применяют на практике книгу Стендаля «О любви», даже не прочитав ее, быть может. У них на выбор различные виды любви: любовь-влечение, любовь-страсть, любовь-каприз, любовь возвышенная и прежде всего любовь мимолетная. Для них все хорошо; это они пустили в ход шутовское изречение: «Все женщины равны перед мужчиной». Буквально это изречение звучит еще сильнее, но так как, по-моему, самая мысль его несостоятельна, я не придаю значения букве.

Сударыня, моего приятеля зовут Габриэль-Жан-Анн-Виктор-Бенжамен-Жорж-Фердинанд-Шарль-Эдуард Рустиколи, граф де ла Пальферин. Рустиколи приехали во Францию с Екатериной Медичи после того, как лишились небольших владений в Тоскане. Будучи в дальнем родстве с д'Эстэ, они примкнули к Гизам. В Варфоломеевскую ночь Рустиколи перебили немало протестантов, и Карл Девятый даровал им наследственное графство де ла Пальферин, конфискованное у герцога Савойского; графство это позднее выкупил у них Генрих Четвертый, оставив Рустиколи титул: великий король имел глупость вернуть герцогу Савойскому его владения. Взамен графы де ла Пальферин, имевшие раньше, чем Медичи, собственный герб (серебряный, увитый лилиями, крест на лазурном поле, — он был увит лилиями по жалованной грамоте Карла Девятого, — увенчанный графской короной, поддерживаемой двумя крестьянами, с девизом «сим победиши»), получили две коронных должности и управление провинцией. Они играли видную роль при Валуа и позднее, почти вплоть до безраздельного владычества Ришелье; затем, при Людовике Четырнадцатом, влияние их сильно уменьшилось, а при Людовике Пятнадцатом они разорились. Дед моего приятеля промотал остатки состояния этого блестящего рода с мадмуазель Лагер, которую он первый, еще до Буре, ввел в моду. В 1789 году отцу Шарля-Эдуарда, офицеру без всяких средств, пришла в голову благоразумная мысль воспользоваться революционным духом времени и именоваться просто Рустиколи. Во время итальянских войн он женился на некоей Каппони, крестнице графини Альбани (отсюда последнее имя де ла Пальферина); отец нашего приятеля был одним из лучших полковников наполеоновской армии, император произвел его в командоры ордена Почетного легиона и сделал графом. У полковника было легкое искривление позвоночника, и сын его, смеясь, говорил по этому поводу: «Это был *подправленный* граф». Генерал граф Рустиколи — ибо он стал бригадным генералом еще в Ратисбонне — умер в Вене после битвы при Ваграме, получив на поле сражения чин дивизионного генерала. Его имя, добытая им в Италии слава и его заслуги рано или поздно принесли бы графу маршальский жезл. Во время Реставрации он восстановил бы знатный и блестящий род де ла Пальферин, столь известный уже к 1100 году под именем Рустиколи, ибо к тому времени из числа Рустиколи вышел уже один папа, и они дважды совершили государственный переворот в Неаполитанском королевстве; представители этого рода, блиставшего при Валуа, оказались достаточно ловкими, чтобы, оставаясь неисправимыми фрондерами, сохранить свое существование при Людовике Четырнадцатом; Мазарини питал к ним слабость, распознав в них остатки духа Тосканы. В наше время, когда называют имя Шарля-Эдуарда де ла Пальферин, из ста человек едва ли двое-трое знают, что такое род де ла Пальферин; но ведь допустили же Бурбоны, чтобы один из Фуа-Грайи жил своей кистью. Ах, если бы вы знали, как остроумно Эдуард де ла Пальферин шутит над своим более чем скромным положением; как он издевается над буржуа 1830 года. Какая тонкая ирония, какой блеск ума! Если бы богема согласилась избрать себе короля, он стал бы королем богемы. Его остроумие неистощимо. Ему мы обязаны картой богемы и названиями семи ее замков, которых не мог отыскать Нодье.

— Вот единственная деталь, в которой еще нуждалась одна из самых остроумных шуток нашего времени, — заметила маркиза.

— Некоторые выходки моего приятеля ла Пальферина помогут вам вернее судить о нем, — продолжал Натан. — Как-то ла Пальферин встретил на бульваре одного из своих друзей, тоже принадлежащего к богеме: тот спорил с каким-то буржуа, считавшим себя оскорбленным. С нынешней властью богема держит себя очень дерзко. Речь зашла о дуэли.

— Одну минуту, — вмешался ла Пальферин с горделивым видом настоящего Лозена[[5]](#footnote-5), — одну минуту: вы, сударь, родом?..

— Что такое, сударь? — спросил буржуа.

— Да кто вы родом? Как вас зовут?

— Годэн.

— Ах так, Годэн! — произнес друг ла Пальферина.

— Одну минуту, дорогой мой, — остановил приятеля ла Пальферин. — Есть Тригодэны. Вы не из их рода? (Изумление буржуа.)

— Нет? В таком случае, вы из новоявленных герцогов де Гаэт, императорской выделки? Нет. Так как же вы хотите, чтобы мой друг, который станет секретарем посольства и послом и перед которым вам придется снимать шляпу, дрался с вами на дуэли?.. Годэн! Такого не существует, вы — ничто, Годэн! Мой друг не может сражаться с пустотой. Чтобы драться с *кем-то*, надо самому быть *чем-то!* Прощайте, любезнейший. Пойдем, дружище. Поклон супруге, — добавил приятель графа.

В другой раз ла Пальферин прогуливался с приятелем. Тот швырнул окурок сигары в лицо какому-то прохожему; прохожий имел бестактность рассердиться.

— Вы выдержали огонь своего противника, — бросил молодой граф, — свидетели находят, что ваша честь удовлетворена.

Он задолжал тысячу франков портному. Вместо того чтобы прийти за деньгами самому, портной однажды утром прислал к ла Пальферину старшего приказчика. Посланный отыскал несчастного должника на седьмом этаже, в глубине двора, в верхнем конце предместья дю Руль. Мебели в комнате не было. Была, правда, кровать, но что за кровать! И стол, но что за стол! Ла Пальферин выслушал несуразное и, по его словам, возмутительное требование, да еще сделанное в семь часов утра.

— Пойдите и скажите вашему господину, — ответил он, принимая позу Мирабо, — в какой обстановке вы меня застали.

Приказчик удалился, бормоча извинения. Увидев, что он уже на лестничной площадке, ла Пальферин встал и с величавостью, воспетой стихами «Британника», сказал ему:

— Обратите внимание на лестницу! Рассмотрите хорошенько лестницу и не забудьте рассказать ему о лестнице!

В какое бы положение ни ставил его капризный случай, ла Пальферин всегда оказывался на высоте, сохранял присутствие духа и прекрасные манеры. Всегда и во всем он проявлял гений Ривароля и изящество французского вельможи. Это он сочинил очаровательную историю о том, как некий приятель банкира Лафита явился в бюро национальной подписки, объявленной для того, чтобы сохранить за этим банкиром его особняк, где подготовлялась революция 1830 года; буржуа будто бы заявил: «Вот пять франков. Дайте сто су сдачи»[[6]](#footnote-6). По этому поводу была пущена карикатура. Граф имел несчастье, говоря языком обвинительного акта, сделать одну девушку матерью. Девица, не слишком наивная, во всем признается матери, добропорядочной мещанке, а та прибегает к ла Пальферину и спрашивает его, что он думает делать. «Но, сударыня, я не хирург и не повивальная бабка», — отвечает он. Женщина была ошеломлена. Но через три или четыре года она вновь явилась к ла Пальферину и принялась настойчиво допытываться, что он все же намерен предпринять. «О, сударыня, — ответил граф, — когда ребенку исполнится семь лет, — возраст, когда дети из женских рук переходят в мужские... (одобрительное движение матери), если ребенок действительно мой (жест матери), если он как две капли воды похож на меня, если он обещает стать дворянином, если я обнаружу в нем мой склад ума и особенно осанку Рустиколи, — о! тогда (новое движение), слово дворянина, я подарю ему... палочку ячменного сахара!» Если вы разрешите мне воспользоваться стилем, какой употребляет господин Сент-Бев в своих «Биографиях неизвестных», — все это игриво, забавно, но уже говорит об испорченности человека крепкой породы. Это больше отдает Оленьим парком, чем отелем Рамбулье[[7]](#footnote-7). Тут нисколько нет нежности, и я склонен сделать вывод о некотором распутстве и даже в большей мере, чем мне хотелось бы, допустить ее в натурах блестящих и великодушных. Галантные проказы во вкусе герцога Ришелье для нас, пожалуй, слишком уж шаловливы. Это напоминает крайности восемнадцатого века, которые возвращают нас ко временам мушкетеров и набрасывают тень на Шампсене; но эта ветреность таит в себе нечто от утех и развлечений старого двора Валуа. В эпоху столь высоко нравственную, как наша, необходимо строго наказывать за такие дерзкие выходки; однако эта палочка ячменного сахара может вместе с тем указать молодым девицам на опасность частых встреч, сначала полных розовых грез, нежных и чарующих, но которые незаметно ведут к волнению чувств, ко все возрастающей податливости, к двусмысленным положениям и к последствиям, слишком ощутимым. Анекдотический случай этот рисует живой и острый ум ла Пальферина, обладающего той гибкостью, которой требовал Паскаль. Он и нежен и неумолим; подобно Эпаминонду, он одинаково велик в своих крайностях. Насмешливый ответ графа к тому же верно передает эпоху: в те годы еще не было акушеров. Таким образом, эта острота, которая надолго сохранится, свидетельствует вместе с тем об успехах нашей цивилизации.

— Дорогой Натан, что за чепуху вы городите? — спросила изумленная маркиза.

— Маркиза, — отвечал Натан, — неужели вы не цените эту изысканную фразеологию? Я ведь говорю сейчас на новом французском языке, созданном Сент-Бевом. Итак, продолжаю. Однажды, прогуливаясь по бульвару под руку с друзьями, ла Пальферин видит, что к нему приближается один из самых свирепых его кредиторов.

— Думаете ли вы обо мне, сударь? — спрашивает кредитор.

— Меньше всего на свете, — отвечает граф.

Обратите внимание, в каком он был трудном положении; когда-то Талейран в подобных же обстоятельствам сказал: «Вы слишком любопытны, милейший!» И дело заключалось в том, чтобы не впасть в подражание этому неподражаемому человеку. Молодой граф, щедрый, как Букингэм, не мог выносить, когда его застигали врасплох, и однажды, не имея при себе ни гроша, чтобы подать милостыню маленькому трубочисту, он запускает руку в бочонок с виноградом, стоящий у входа в бакалейную лавку, и набивает гроздьями шапку юного савояра. Мальчишка принимается уплетать виноград. Бакалейщик расхохотался и протянул ла Пальферину руку.

— О нет, сударь! — воскликнул граф. — Ваша левая рука не должна знать, что сделала моя правая.

Безрассудно храбрый, Шарль-Эдуард не ищет, но и не избегает приключений. Он столь же храбр, как и остроумен. Встретив в проезде Оперы человека, который недостаточно учтиво отозвался о нем, граф мимоходом толкнул его локтем, затем возвратился и вновь толкнул.

— Вы не отличаетесь ловкостью, — слышит он.

— Напротив: я сделал это умышленно.

Молодой человек подает ему свою визитную карточку.

— Она слишком грязна и затрепана, — говорит ла Пальферин. — Будьте любезны, дайте другую, — добавляет он, отшвырнув карточку.

На дуэли он получает удар шпагой. Его противник, увидя кровь, хочет окончить поединок и восклицает:

— Вы ранены, сударь.

— Разве это удар? — отвечает граф с таким спокойствием, словно находится в фехтовальном зале, и, сделав ответный, но куда более ловкий выпад, он прибавил: — Вот это настоящий удар, сударь.

Его противник полгода пролежал в постели. Все это, если держаться в фарватере господина Сент-Бева, напоминает повадки блестящих вельмож прошлого и тонкие шутки лучших дней монархии. Здесь видна жизнь непринужденная, даже распущенная, живое воображение, которое дается нам лишь на заре юности. Это уже не бархатистость цветка, а сухое, зрелое и плодоносное зерно, которое обеспечивает зимнюю пору. Не находите ли вы, что все это говорит о чем-то тревожном, неутолимом, не поддающемся ни анализу, ни описанию, но тем не менее понятном, о чем-то таком, что вспыхнет сильным и ярким пламенем, если к тому представится случай. Это — тоска, томящая в монастырях, нечто ожесточенное, брожение подавленных бездеятельностью юношеских сил, грусть неясная и туманная.

— Довольно! — воскликнула маркиза. — Вы меня словно холодной водой окатили.

— Это — предвечерняя скука. Не знаешь, чем занять себя, и готов делать что угодно, даже что-нибудь дурное, лишь бы что-нибудь делать. И так всегда будет во Франции. Нашу молодежь характеризуют сейчас две черты: с одной стороны, прилежание еще не признанных, а с другой — пылкие страсти неистовых.

— Довольно! — остановила его властным жестом г-жа де Рошфид. — Вы не щадите моих нервов.

— Я спешу закончить портрет ла Пальферина и перейти в область его галантных похождений, — для того чтобы вы могли понять своеобразный облик этого даровитого молодого человека, являющего собою яркий образец нашей язвительной молодежи, когда она достаточно сильна, чтобы смеяться над положением, в которое ее ставят бездарные правители, достаточно расчетлива, чтобы, видя бесцельность труда, ничего не делать, и пока еще достаточно жизнерадостна, чтобы предаваться удовольствиям — единственное, чего у нее не могли отнять. Но нынешняя политика, одновременно буржуазная, торгашеская и ханжеская, закрывает все пути для деятельности множества талантов и дарований. Нет ничего для этих поэтов, нет ничего для этих молодых ученых! Чтобы дать вам представление о глупости нового двора, я расскажу вам случай, происшедший с ла Пальферином. Цивильным листом предусмотрена должность чиновника по делам вспомоществования нуждающимся. Чиновник как-то узнал, что ла Пальферин находится в крайне бедственном положении, без сомнения, доложил об этом начальству и привез наследнику Рустиколи пятьдесят франков. Ла Пальферин принял этого господина с отменной любезностью и завел с ним речь о членах королевской фамилии.

— Правда ли, — спросил граф, — что принцесса Орлеанская расходует такую-то сумму на это замечательное благотворительное ведомство, учрежденное ею для своего племянника? Это прекрасное дело.

Ла Пальферин шепнул что-то маленькому десятилетнему савояру, прозванному им «отец Анхиз»; тот служит ему безвозмездно, и граф говорит о нем: «Я никогда не встречал такой глупости в соединении с такой сообразительностью. Он пойдет за меня в огонь и в воду. Все он понимает, кроме одного, — что я не в силах ничего для него сделать».

Анхиз вскоре возвратился в великолепной взятой напрокат двухместной карете; на запятках ее стоял лакей. Услышав стук кареты, ла Пальферин ловко перевел разговор на обязанности чиновника, которого он с тех пор именует «человеком по делам безнадежно нуждающихся» и осведомился о характере его работы и получаемом жалованье.

— Предоставляют ли вам карету для разъездов но городу?

— О нет! — ответил чиновник.

При этих словах ла Пальферин и находившийся у него приятель встали, чтобы проводить беднягу, спустились вниз и заставили его сесть в карету, так как шел проливной дождь. Ла Пальферин все предусмотрел. Он приказал отвезти чиновника туда, куда тому было нужно попасть. Когда раздатчик милостыни окончил свой новый визит, он увидел, что экипаж ожидает его у ворот. Лакей вручил ему написанную карандашом записку: «Карета оплачена за три дня вперед графом Рустиколи де ла Пальферин, который бесконечно счастлив, что может таким образом присоединиться к благотворительности двора, предоставляя крылья для его благодеяний». С тех пор ла Пальферин называет цивильный лист «листом неучтивости».

Граф был страстно любим некоей Антонией, женщиной довольно легкого поведения; она жила на Гельдерской улице и понемногу приобретала известность. Но когда Антония познакомилась с графом, она еще не особенно «твердо стояла на ногах». Ей не чужда была дерзость прежних времен, которую нынешние куртизанки довели до наглости. После двух недель безоблачного счастья Антония была вынуждена, в интересах своего цивильного листа, вернуться к менее захватывающей страсти. Заметив, что с ним стали недостаточно искренни, ла Пальферин написал Антонии письмо, которое сделало ее знаменитой:

«Сударыня! Ваше поведение меня столь же изумляет, сколь и удручает. Мало того, что своим пренебрежением вы разрываете мне сердце, вы еще имеете жестокость удерживать мою зубную щетку, которую средства мои не позволяют мне заменить другой, ибо мои владения обременены долгами, превышающими их стоимость. Прощайте, прекрасная и неблагодарная подруга! Надеюсь встретиться с вами в лучшем мире!

Шарль-Эдуард».

Несомненно, это письмо (говоря все в том же макароническом стиле Сент-Бева) намного превосходит насмешки Стерна в его «Сентиментальном путешествии». Это— Скаррон без его грубости. Не знаю даже, не сказал ли бы об этом Мольер, как сказал он о лучшем, что нашлось у Сирано[[8]](#footnote-8): «Это мое». Ришелье был не более великолепен, когда писал принцессе, ожидавшей его во дворе, возле кухонь Пале-Рояля: «Оставайтесь там, моя королева, и чаруйте поварят». Впрочем, шутка Шарля-Эдуарда менее язвительна. Не знаю, был ли известен подобный род остроумия римлянам или грекам. Быть может, Платон, если внимательно вглядеться, и приближался к нему, но лишь в отношении четкости и музыкальности...

— Оставьте этот жаргон, — сказала маркиза, — такие вещи можно печатать, но терзать этим мой слух — наказание, мной не заслуженное.

— Вот как произошла встреча графа с Клодиной, — продолжал Натан. — Однажды, в один из тех пустых дней, когда молодежь не знает, куда деваться от тоски и, подобно Блонде во время Реставрации, находит выход для своей энергии и избавление от апатии, на которую ее обрекают заносчивые старики, в дурных поступках и шутовских выходках, извинительных лишь в силу дерзости замысла, — в один из таких дней ла Пальферин, постукивая своей тростью по тротуару, лениво прогуливался между улицей Граммон и улицей Ришелье. Издали он замечает женщину, чересчур элегантно одетую и, как он выразился, увешанную слишком дорогими вещами, которые она носила с такой небрежностью, что ее можно было принять либо за принцессу из дворца, либо за принцессу из Оперы. Но после июля 1830 года ошибка, по его словам, была уже невозможна: несомненно, то была принцесса из Оперы. Молодой граф подходит к даме с таким видом, словно назначил ей свидание. Он следует за ней с вежливым упрямством, с настойчивостью хорошего тона, бросая на нее время от времени покоряющие взгляды, но держится так учтиво, что эта женщина позволяет ему идти рядом. Другой оледенел бы от ее приема, пришел бы в замешательство от первого же отпора, от ее уничтожающе холодного вида и суровых нотаций; но ла Пальферин отвечал ей с такой забавной шутливостью, перед которой отступает всякая серьезность и решительность. Чтобы избавиться от него, незнакомка заходит к модистке. Шарль-Эдуард входит за нею следом, садится, делает замечания и дает советы как человек, готовый взять на себя расходы. Его хладнокровие тревожит незнакомку. Она выходит и на лестнице обращается к своему преследователю:

— Сударь, я иду к родственнице своего мужа, пожилой даме, госпоже де Бонфало...

— О! госпожа де Бонфало? — восклицает граф. — Я в восторге, я иду с вами.

И они идут вместе. Шарль-Эдуард входит с дамой; его принимают за ее знакомого, он вступает в разговор, выказывает в нем тонкость и изящество ума. Визит затягивается. Это не входит в его расчеты.

— Сударыня, — обращается он к незнакомке, — не забывайте, что ваш муж ожидает нас. В нашем распоряжении всего четверть часа. — Смущенная такой дерзостью, которая, сами знаете, нравится женщинам, увлеченная покоряющим взглядом, серьезным и в то же время простодушным видом, какой умеет принимать Шарль-Эдуард, она встает, принимает руку своего неотвязного кавалера, спускается вниз и на пороге говорит ему:

— Сударь, я люблю шутку...

— О, я также! — отвечает граф. Клодина рассмеялась. — Но, — продолжал он, — от вас одной зависит, чтобы это перестало быть шуткой. Я — граф де ла Пальферин и был бы счастлив сложить к вашим ногам свое сердце и свое состояние.

Ла Пальферину было тогда двадцать два года. Все это происходило в 1834 году. К счастью, граф был одет в тот день элегантно. Я опишу в двух словах его внешность. Это — живой портрет Людовика Тринадцатого: у него бледный лоб с изящными висками, смуглый, итальянский цвет лица, который при свечах кажется белым, длинные темные волосы и черная бородка. У него тот же серьезный и меланхолический вид, ибо его внешность и характер представляют разительный контраст. Услышав звучное имя, Клодина пристально смотрит на его обладателя и испытывает легкий трепет. Это не ускользает от ла Пальферина, и он устремляет на нее глубокий взгляд своих черных миндалевидных глаз с темными помятыми веками, которые свидетельствовали о пережитых наслаждениях, изнуряющих не меньше, чем невзгоды и волнения. Покоряясь этому взгляду, она спрашивает:

— Ваш адрес?

— Вопрос не по адресу, — бросает он.

— А, вот оно что, — улыбаясь, говорит она. — Птичка на ветке?

— Прощайте, сударыня! Вы — как раз такая женщина, которая мне нужна, но средства мои не соответствуют моим желаниям.

Он раскланивается и, не оборачиваясь, уходит. Два дня спустя, по той роковой случайности, какие возможны только в Париже, граф отправляется к торговцу платьем, дающему ссуды под залог, чтобы сбыть ему излишки своего гардероба. С беспокойным видом он соглашается на установленную после долгих споров цену, как вдруг видит проходящую мимо незнакомку, которая, несомненно, узнала его. «Нет, я решительно отказываюсь взять этот рог!» — бросает он ошеломленному торговцу, указывая на висевший снаружи огромный помятый охотничий рог, который выделялся на фоне ливрейных фраков посольских лакеев и ветхих генеральских мундиров. Затем он гордо выходит и стремительно бросается за молодой женщиной. Начиная с этого знаменательного дня, отмеченного историей с охотничьим рогом, они прекрасно поняли друг друга. У Шарля-Эдуарда были правильные взгляды на любовь. В жизни человека, по его словам, любовь не повторяется дважды: она приходит только один раз, глубокая и безбрежная, как море. Такая любовь может снизойти на каждого, как благодать снизошла на святого Павла, но человек может дожить и до шестидесяти лет, не испытав ее. Такая любовь, по великолепному выражению Гейне, есть, быть может, тайная болезнь сердца, сочетание чувства бесконечного, заключенного в нашей душе, и прекрасного идеала, который открывается нам в зримой форме. Словом, такая любовь объемлет собою и отдельное существо, и все творение. И пока речь не заходит об этой великой поэме, к любви мимолетной можно относиться лишь как к шутке, подобно тому, как относятся в литературе к легкой поэзии, сравнивая ее с поэзией эпической.

Для графа эта связь не была той ослепительной молнией, которая является предвестником истинной любви, не была она и постепенным раскрытием женского обаяния и признанием скрытых качеств, которые связывают два существа со все возрастающей силой. Настоящая любовь всегда приходит одним из этих двух путей: или любовь с первого взгляда, являющаяся, без сомнения, следствием ясновидения — внутреннего зрения, как выражаются шотландцы, или постепенное слияние двух существ, образующих подобие платоновского андрогина. Но Шарль-Эдуард был любим безумно. Его возлюбленная испытывала к нему любовь совершенную — и духовную и физическую. Словом, ла Пальферин был настоящей страстью Клодины, тогда как Клодина была для него всего лишь очаровательной любовницей. Ад и князь его сатана, который, без сомнения, великий чародей, ничего не могли бы изменить в отношениях этих двух столь несхожих темпераментов. Я смею утверждать, что Клодина нередко наводила на Шарля-Эдуарда скуку. «Нелюбимая женщина и недоеденная рыба через три дня годны только на то, чтобы их выбросили за окно», — говорил он нам. В богеме не делают особой тайны из легкой любви. Ла Пальферин часто говорил нам о Клодине, однако никто из нас не видел ее, и никогда ее настоящее имя не было произнесено. Клодина оставалась для нас существом полумифическим. Все мы поступали так же, примиряя этим способом требования приятельских отношений с правилами хорошего тона. Клодина, Гортензия, баронесса, мещанка, императрица, львица, испанка — это были обозначения, которые позволяли каждому изливать свои чувства, говорить о своих заботах, горестях, надеждах и делиться своими открытиями. Дальше этого не шли. Как-то богеме случайно стало известно имя женщины, о которой шла речь, — и тотчас же, по единодушному молчаливому соглашению, о ней перестали говорить. Факт этот показывает, каким чувством истинной деликатности обладает молодежь. Как изумительно чувствуют эти люди границы, где должна смолкнуть насмешка и отступить свойственная французам склонность к тому, что солдаты называют «бахвальством»; слово это, надо надеяться, будет выброшено из нашего языка, хотя только оно одно и способно передать истинный дух богемы. Мы частенько прохаживались насчет графа и Клодины. «Что ты сделаешь из своей Клодины?», «Как твоя Клодина?», «Все еще Клодина?» Все это распевалось на мотив арии «Все еще Гесслер» из оперы Россини.

— Желаю вам такую же любовницу, — сказал нам как-то разозленный Пальферин. — Ни один пудель, ни одна такса или борзая не могут сравниться с нею в мягкости, бесконечной нежной привязанности. Иногда я упрекаю себя, я обвиняю себя в жестокости. Клодина покорна и кротка, как святая. Она приходит, я отсылаю ее домой, она молча уйдет и заплачет только во дворе. Я отказываюсь ее видеть целую неделю, назначаю свидание на следующий вторник, на любой час, будь то полночь или шесть часов утра, десять утра или пять часов вечера — время самое неудобное: час завтрака или обеда, время, когда встают или ложатся спать... Все равно. Она придет, красивая, нарядная, очаровательная, — и точно в назначенный час! А ведь она замужем. У нее масса домашних дел и обязанностей. Мы бы с вами запутались в тех хитростях и доводах, которые ей приходится измышлять и придумывать, чтобы приспособиться к моим капризам!.. Но она не знает усталости и прекрасно держится! Я говорил ей, что это не столько любовь, сколько упрямство. Она пишет мне каждый день, я не читаю ее писем. Она об этом знает и все же продолжает писать! Вот взгляните — в этой шкатулке сотни две ее писем. Она просит меня каждое утро брать по письму и вытирать им бритву, я так и делаю! Она думает, и не без основания, что, увидя ее почерк, я буду вспоминать о ней.

Ла Пальферин, рассказывая, занимался своим туалетом. Я взял письмо, которым он хотел, по обыкновению своему, вытереть бритву, и, так как он не потребовал письмо назад, я прочел его и оставил у себя. Вот оно: я, как и обещал, нашел его.

«Понедельник. Полночь.

Ну что, друг мой, довольны ли вы мною? Я не попросила вас дать мне руку, хотя вам было так легко протянуть ее, а мне так хотелось прижать ее к своему сердцу, к своим губам. Нет, я не попросила об этом из опасения вас рассердить. Я должна сказать вам одну вещь: к несчастью своему, я знаю, что мои поступки для вас безразличны, и все же я всегда, всегда робею перед вами. Женщина, которая вам принадлежит, независимо от того, известно ли кому-нибудь об этом, или это остается тайной для всех, не должна навлекать на себя никаких нареканий. Небесные ангелы, для которых нет тайн, знают, что я люблю вас самой чистой любовью, но где бы я ни была, мне кажется, что я всегда нахожусь в вашем присутствии, и я хочу быть достойной вас.

Меня глубоко поразило то, что вы сказали о моей манере одеваться. Это заставило меня понять, насколько люди благородного происхождения выше остальных! В покрое моих платьев, в моей прическе еще оставалось нечто от привычек оперной танцовщицы. Мне сразу стало ясно, как мало еще у меня настоящего вкуса. В первую же встречу вы не узнаете меня, вы примете меня за герцогиню. О, как ты был добр к своей Клодине! Как я тебе благодарна за то, что ты указал мне мои недостатки. Сколько внимания в нескольких твоих словах. Стало быть, ты все же думаешь о принадлежащей тебе безделушке, которая носит имя Клодины? А разве *он*, этот глупец, мог бы просветить меня в этих вопросах? Ему нравится все, что я делаю, к тому же он слишком занят будничными делами, слишком прозаичен и совсем не обладает чувством прекрасного. Вторник... С каким нетерпением я жду вторника. День, когда я проведу несколько часов возле вас! Ах, во вторник я постараюсь думать, что часы превратились в месяцы и что им не будет конца. Я живу ожиданием этого утра, а когда оно пройдет, буду жить воспоминаниями о нем. Надежда — это мысль о будущем наслаждении, воспоминание — память о наслаждении пережитом. О мысль! Какой прекрасной делаешь ты нашу жизнь! Я мечтаю придумать такие ласки, которые будут только моими и тайну которых не разгадать ни одной женщине. Меня бросает в холод при одной мысли, что нам что-нибудь может помешать. О, я немедленно порвала бы с *ним*, если бы это было нужно. Но не с этой стороны может возникнуть препятствие, а с твоей: у тебя может явиться желание пойти куда-нибудь, даже к другой женщине, быть может. О, пощади этот вторник! Если ты, Шарль, отнимешь его у меня, ты не представляешь, во что это *ему* обойдется: я сведу *его* с ума. Даже если ты и не хочешь быть со мной, если ты собираешься куда-нибудь пойти, позволь мне все же прийти к тебе, посмотреть, как ты будешь одеваться, хотя бы только взглянуть на тебя! Большего я не требую: позволь мне доказать этим, как чиста моя любовь к тебе! С тех пор как ты позволил мне любить тебя, — ведь ты это позволил, иначе бы я не была твоей, — с этого дня я люблю тебя всеми силами своей души и буду любить тебя вечно. Ведь после тебя нельзя, невозможно любить другого. И, знаешь, когда ты посмотришь в мои глаза, глаза твоей Клодины, которой хочется лишь взглянуть на тебя, ты ощутишь во мне нечто возвышенное, которое ты же и пробудил. Увы! С тобой я — не кокетка! Я отношусь к тебе, как мать к ребенку: я все готова снести от тебя. Властная и гордая с другими, я, которая заставляла бегать за собой принцев, герцогов и флигель-адъютантов Карла X, стоивших побольше современных придворных, я обращаюсь с тобой, как с избалованным ребенком. Да и к чему здесь кокетство? Оно было бы неуместно. Но вот именно из-за того, что нет во мне кокетства, вы никогда не будете любить меня. Я это знаю. Я это чувствую. И все же я во власти какой-то неодолимой силы и продолжаю поступать все так же. У меня только одна надежда: быть может, полное мое самоотречение пробудит в вас то чувство, которое, по *его* словам, свойственно каждому мужчине но отношению к тому, что он считает своей собственностью».

«Среда.

О, какой безысходной тоской переполнилось сердце, когда я узнала вчера, что придется отказаться от счастья видеть тебя. Одна только мысль помешала мне броситься в объятия смерти: ты так хотел. Не прийти — означало исполнить твою волю, подчиниться твоему приказанию. Ах, Шарль, я была так красива! Ты нашел бы, что я гораздо привлекательнее той блестящей немецкой княгини, которую ты мне ставил в пример и которую я внимательно изучала в Опере. Но, возможно, ты бы нашел, что я не похожа на себя. Видишь, ты лишил меня всякой уверенности в себе, быть может, я безобразна! О, я вся дрожу, я глупею при одной мысли о моем лучезарном Шарле-Эдуарде. Я, наверно, сойду с ума. Не смейся и не говори мне о женском непостоянстве. Если мы изменчивы, то вы, мужчины, — очень странные существа. Лишить бедную женщину нескольких часов радости, в ожидании которых она была счастлива целых десять дней, была добра и очаровательна со всеми, с кем ей пришлось встречаться! Наконец, ты был причиной ласкового моего внимания к *нему*. Ты даже не подозреваешь, сколько зла ты *ему* приносишь. Я спрашивала себя, что я должна придумать, чтобы удержать тебя или хотя бы иметь право иногда принадлежать тебе... Подумать только, ты ни разу не захотел прийти ко мне! С каким восторгом я бы ухаживала за тобой. Есть женщины счастливее меня. Некоторым ты даже говоришь: «Я люблю вас!» А мне ты в лучшем случае говоришь: «Ты славная девочка!» Ты и не подозреваешь, как иные твои слова терзают мне сердце. Иногда умные люди спрашивают меня, о чем я думаю. Я думаю о своей униженности, ведь я подобна несчастнейшей из грешниц пред лицом Спасителя».

— Как видите, здесь еще целых три страницы. Ла Пальферин позволил мне взять это письмо, и я увидел на нем следы слез, которые, казалось, были еще теплыми! Письмо это убедило меня, что ла Пальферин говорит нам правду. Маркас, довольно робкий с женщинами, пришел в восторг от такого же письма, которое он прочел в своем углу, прежде чем зажечь им сигару.

— Но ведь так пишут все влюбленные женщины! — воскликнул ла Пальферин. — Любовь пробуждает в них ум и обучает стилю: это доказывает, что во Франции стиль рождается мыслью, а не словом. Смотрите, как это глубоко продумано, как логично самое чувство! — И он прочел нам еще одно письмо, написанное во много раз лучше тех искусственных, надуманных писем, которые сочиняем мы, авторы романов.

Однажды несчастная Клодина, узнав, что ла Пальферину угрожает серьезная неприятность в связи с просрочкой векселя, возымела роковую мысль преподнести ему в изящно расшитом кошельке довольно значительную сумму золотом. Какая дерзость!

— Кто тебе позволил вмешиваться в мои домашние дела?! — разгневался ла Пальферин. — Штопай мне носки, вышивай мне туфли, если тебе это нравится. Но... А! так ты вздумала разыгрывать из себя герцогиню, миф о Данае[[9]](#footnote-9) ты обращаешь против аристократии!

С этими словами он высыпал на ладонь содержимое кошелька и сделал вид, будто собирается бросить деньги в лицо Клодине. Не поняв шутки, Клодина испуганно отпрянула назад, наткнулась на стул и упала навзничь, ударившись головой об острый угол камина. Ей показалось, что она умирает. Когда бедняжку положили на кровать и к ней вернулся дар речи, первые ее слова были: «Я заслужила это, Шарль!» На минуту ла Пальферин пришел в отчаянье. Его отчаянье вернуло Клодину к жизни; она порадовалась своему несчастью и воспользовалась им, чтобы заставить графа принять деньги, и тем самым выручила его из беды. Все это в перевернутом виде напоминает басню Лафонтена, в которой муж благодарит воров за то, что из-за них испытал минутную нежность со стороны жены. В этой связи одна фраза ла Пальферина поможет вам понять весь его характер.

Вернувшись домой, Клодина, как сумела, сочинила целую историю, чтобы объяснить происхождение своей раны. Бедняжка опасно заболела: на голове у нее образовался нарыв. Врач, кажется Бьяншон (да, это был он), велел остричь Клодине волосы, а волосы у нее прекрасные, не хуже, чем у герцогини Беррийской. Клодина не позволила остричь ее и по секрету призналась Бьяншону, что не может решиться на это без согласия графа ла Пальферина. Бьяншон отправился к Шарлю-Эдуарду. Тот важно выслушал его подробные объяснения о состоянии больной, но когда Бьяншон заявил, что для успешного исхода операции ей необходимо снять волосы, ла Пальферин решительно воскликнул: «Остричь Клодине волосы?! Нет, я предпочитаю потерять ее!» Бьяншон и теперь, по прошествии четырех лет, все еще вспоминает об ответе ла Пальферина, заставившем нас смеяться в течение получаса. Узнав о запрещении ла Пальферина, Клодина усмотрела в этом доказательство привязанности графа и решила, что она любима. Невзирая на слезы родных и мольбы мужа, она осталась непоколебима и сохранила волосы. Благодаря внутренней силе, которую Клодине придала вера в то, что ее любят, операция прошла блестяще. Бывают движения души, которые опрокидывают все расчеты хирургии, все законы медицины. Не соблюдая никаких правил орфографии и пунктуации, Клодина написала ла Пальферину очаровательное письмо, в котором сообщала о счастливом исходе операции и уверяла, что любовь сильнее всех наук.

— А теперь, — сказал нам однажды ла Пальферин, — что придумать, чтобы избавиться от Клодины?

— Но она же тебя нисколько не стесняет, ты делаешь все, что тебе заблагорассудится.

— Это правда, — отвечал ла Пальферин. — Но я не желаю, чтобы без моего согласия в мою жизнь вторгалось что-то постороннее.

С этого дня ла Пальферин начал мучить Клодину. Он питал глубочайшее отвращение к женщинам буржуазного круга, без имени, без титула; ему во что бы то ни стало нужна была аристократка. Правда, Клодина сделала большие успехи: она одевалась теперь не хуже самых элегантных обитательниц Сен-Жерменского предместья, она сумела облагородить свою походку, и все ее движения были полны неподражаемой целомудренной грации, но и этого было недостаточно! Чтобы заслужить похвалу, Клодина была готова на все. «Вот что, — сказал ей однажды ла Пальферин, — если ты хочешь остаться любовницей одного из отпрысков рода ла Пальферин, бедняка без гроша в кармане и без надежд на будущее, ты должна по крайней мере достойно представлять его. У тебя должен быть свой выезд, ливрейные лакеи, титул. Доставь мне все то, что могло бы потешить мое тщеславие и чего я не в силах добиться сам. Женщина, которую я почтил своей благосклонностью, никогда не должна ходить пешком: если ее чулки забрызганы грязью — я страдаю! Да, уж таким я создан! Весь Париж должен восхищаться моей возлюбленной. Я хочу, чтобы Париж завидовал моему счастью. Хочу, чтобы каждый юноша при виде блистательной графини, проносящейся мимо него в роскошном экипаже, в задумчивости спрашивал себя: «Кому принадлежит это божество?» Это вдвое увеличит мое удовольствие».

Ла Пальферин признался нам, что он вбивал все это в голову Клодине, для того чтобы избавиться от нее, но был озадачен в первый, и несомненно, в последний раз в своей жизни: «Хорошо, друг мой, — сказала Клодина голосом, выдававшим ее глубокое внутреннее волнение, — все это будет сделано, или я умру... — И она восторженно поцеловала его руку, уронив на нее несколько слезинок. — Я бесконечно рада, — прибавила она, — что ты объяснил мне, какой я должна быть, чтобы остаться твоей возлюбленной». — «И, сделавши на прощанье кокетливый жест счастливой женщины, — рассказывал ла Пальферин, — она вышла из моей мансарды, высокая, гордая и величественная, словно древняя прорицательница».

— Все это достаточно ярко характеризует нравы богемы, одним из наиболее блестящих представителей которой является сей юный кондотьер, — продолжал Натан после небольшой паузы. — Теперь послушайте, как мне удалось узнать, кто была Клодина и каким образом мне стал понятен трагический смысл одной фразы в ее письме; я был поражен правдивостью этой фразы, но вы, быть может, не обратили на нее внимания.

— Продолжайте, — проронила маркиза без малейшей улыбки, настолько она была поглощена своими мыслями; это показало Натану, что она была поражена всеми этими странностями и, в особенности, живо заинтересовалась самим ла Пальферином.

— В 1829 году одним из наиболее известных, хорошо устроенных и благополучных парижских драматургов был дю Брюэль. Его настоящее имя осталось публике незнакомым, ибо на афишах он значился под псевдонимом де Кюрси. Во время Реставрации он занимал должность начальника канцелярии в одном из министерств. Будучи горячим приверженцем старшей ветви Бурбонов, он мужественно подал в отставку и с тех пор начал писать для театра вдвое больше, стараясь возместить ущерб, причиненный его бюджету сим благородным поступком. Дю Брюэлю было в то время сорок лет; жизнь его вам известна. По примеру многих писателей он был сильно привязан к некой актрисе: такого рода необъяснимые привязанности часто наблюдаются в литературном мире. Его любовницу вы знаете — это Туллия; некогда она была одной из первых учениц Королевской музыкальной академии. Туллия — ее псевдоним, подобно тому как де Кюрси — псевдоним дю Брюэля. В течение десяти лет — с 1817 по 1827 год — эта девица блистала на знаменитых подмостках Оперы. Посредственная балерина, куда более красивая, чем одаренная, она оказалась практичнее многих танцовщиц — не поддалась новому, добродетельному направлению, погубившему кордебалет, и осталась верна традициям мадмуазель Гимар. Своим успехом она была обязана покровительству нескольких сановных поклонников, в частности герцога де Реторе, сына герцога де Шолье, влиянию известного директора ведомства изящных искусств, а также дипломатам и богатым иностранцам. В расцвете своей карьеры она занимала небольшой особняк на улице Шоша и вела почти такую же жизнь, как прежние нимфы Оперы. Дю Брюэль влюбился в нее в начале 1823 года, когда страсть герцога де Реторе начала остывать.

Простой чиновник ведомства изящных искусств, дю Брюэль смирился с покровительством директора, полагая, что является счастливым его соперником. По прошествии шести лет связь дю Брюэля и Туллии превратилась в своего рода брак. Туллия тщательно скрывает свое происхождение, известно только, что она родом из Нантера. Говорят, что ее дядя, в прошлом простой плотник или каменщик, благодаря ее рекомендации и денежной поддержке разбогател и сделался крупным подрядчиком по постройке домов. Об этом проговорился сам дю Брюэль, сказавший, что рано или поздно Туллия получит значительное наследство. Подрядчик не женат и питает слабость к племяннице, которой многим обязан. «Этот человек недостаточно умен, чтобы быть неблагодарным», — говорила она. В 1829 году Туллия решила уйти со сцены. К тридцати годам она заметила, что начинает полнеть. Она попыталась выступать в пантомиме, но неудачно; единственное, что она умела, — это в пируэтах, на манер Нобле, высоко поднимать юбку и показываться партеру полунагой. Старик Вестрис с самого начала объяснил ей, что при удачном исполнении и красоте обнаженных форм танцовщицы прием этот стоит не меньше всех мыслимых талантов. В этом и состояла, по его словам, вся соль номера. А что касается всех этих знаменитых танцовщиц — Камарго, Гимар, Тальони, — тощих, черных и некрасивых, то они достигли известности лишь благодаря своей гениальности. С появлением более молодых и одаренных соперниц Туллия уступила им место, удалившись во всем своем блеске, и поступила умно. Танцовщица аристократическая, не скомпрометированная своими связями, она не пожелала ронять себя в дни июльской неразберихи. У красивой и дерзкой Клодины осталось много приятных воспоминаний, но мало денег, зато у нее были великолепные бриллианты и роскошная обстановка, каких не много в Париже.

Покинув Оперу, эта некогда известная, а теперь уже почти совсем забытая танцовщица мечтала только об одном: женить на себе дю Брюэля. И, как вы догадываетесь, в настоящее время она — госпожа дю Брюэль, хотя об этом браке официально объявлено не было. Каким образом подобного рода женщинам удается заставить жениться на себе по прошествии семи-восьми лет близости? К каким средствам они прибегают? Какие пружины пускают в ход? Но как бы ни была забавна такая интимная драма, не она является темой нашего разговора. Итак, дю Брюэль был тайно женат, факт совершился. До этого Кюрси слыл веселым товарищем, он не всегда ночевал дома, его жизнь несколько напоминала жизнь богемы. Он охотно участвовал в увеселительных прогулках, в ужинах и нередко, выйдя из дому на репетицию в театр Комической оперы, оказывался, сам не зная как, где-нибудь в Дьеппе, Бадене, Сен-Жермене; он давал обеды и вел широкую, расточительную жизнь писателей, журналистов и художников. За кулисами всех парижских театров он умело пользовался своими правами драматурга. Дю Брюэль был вхож в наше общество: Фино, Лусто, дю Тийе, Дерош, Бисиу, Блонде, Кутюр, де Люпо терпели его, несмотря на присущий ему педантизм и тяжеловесные манеры чиновника. Женившись, он превратился в раба Туллии. Что поделаешь — бедный малый любил ее. Она уверяла, что бросила сцену для того, чтобы всецело посвятить себя ему, чтобы стать хорошей женой и очаровательной хозяйкой. Туллия сумела войти в доверие к самым строгим янсенисткам в семье дю Брюэля. Не позволяя догадываться о своих истинных намерениях, она отправлялась скучать к госпоже де Бонфало; она делала дорогие подарки старой и скупой госпоже де Шиссе, своей двоюродной тетке. Однажды она целое лето провела у этой дамы и не пропустила ни одной обедни. Танцовщица исповедалась, получила отпущение грехов, причастилась, и все это в провинции, на глазах у тетки. Зимой она нам говорила: «Подумайте только! У меня будут настоящие тетки!» Она так жаждала превратиться в добропорядочную даму, так была рада отречься от своей независимости, что сумела найти способ для достижения этой цели. Она льстила всем старухам родственницам, она каждый день прибегала к матери дю Брюэля, когда та была больна, и проводила у нее по два часа кряду. Дю Брюэль был поражен этой ловкой стратегией в духе госпожи Ментенон и восхищался своей женой, нисколько не задумываясь над собственным положением: он был так хорошо опутан, что уже не чувствовал своих пут. Клодина убедила дю Брюэля, что гибкая система буржуазного правления, буржуазной монархии, буржуазного двора была единственной, которая могла позволить какой-то Туллии, ставшей госпожой дю Брюэль, попасть в то общество, куда она, имея достаточно здравого смысла, раньше и не пыталась проникнуть. Пока она довольствовалась тем, что была принята у госпожи де Бонфало, госпожи де Шиссе и госпожи дю Брюэль, где держала себя как женщина умная, простая и добродетельная. Тремя годами позже она была принята и у их приятельниц. «Я никак не могу представить себе, что госпожа де Брюэль-младшая показывала свои ноги и прочее всему Парижу при свете сотни газовых рожков!» — наивно удивлялась супруга Ансельма Попино. В этом отношении Франция после июля 1830 года походила на империю Наполеона, который в лице госпожи Гара, жены верховного судьи, допустил ко двору бывшую горничную. Бывшая танцовщица, как вы догадываетесь, окончательно порвала со всеми своими прежними приятельницами: она не узнавала тех своих старых знакомых, которые могли бы ее скомпрометировать.

Выйдя замуж, она сняла на улице Виктуар прелестный особнячок с двором и садом; на отделку дома были истрачены безумные деньги, туда были перевезены самые ценные вещи из обстановки Клодины и дю Брюэля. Все, что казалось обычным и заурядным, было продано. Чтобы составить себе верное понятие о царившей там роскоши, следует вспомнить лучшие дни Гимар, Софи Арну[[10]](#footnote-10), Дютэ[[11]](#footnote-11) и им подобных, поглотивших немало громадных состояний. Как действовал этот роскошный образ жизни на дю Брюэля? Вопрос этот нелегко поставить и еще труднее на него ответить. Чтобы дать вам представление о причудах Туллии, достаточно привести одну подробность. У нее на кровати было покрывало из английских кружев, стоившее десять тысяч франков. Одна известная актриса приобрела такое же; Клодина об этом узнала, и немедленно на ее кровати появилась великолепная ангорская кошка, возлежавшая на кружевном покрывале. Этот анекдотический случай ярко рисует Туллию. Дю Брюэль не посмел сказать ни слова. Он получил приказание широко разгласить об этом вызове на соперничество в роскоши, брошенной той, «другой». Туллия дорожила своим кружевным покрывалом — подарком герцога де Реторе; но однажды, лет через пять после свадьбы, она так увлеклась игрой с кошкой, что разорвала его; покрывало было превращено в вуали, воланы, гарнитуры и заменено другим, которое на сей раз было просто покрывало, а не свидетельство безумной расточительности. Как выразился один журналист, своей бессмысленной роскошью эти женщины мстят за то, что в детстве они питались одной картошкой. День, когда покрывало было превращено в лоскутья, явился началом новой эры в жизни супругов. Кюрси развил бешеную деятельность. Никто не подозревает, кому обязан Париж водевилями в стиле восемнадцатого века, с пудреными париками и мушками, которые обрушились на театры. Виновницей тысячи и одного водевиля, на которые так жаловались фельетонисты, была непреклонная воля госпожи дю Брюэль: она настояла, чтобы муж купил особняк, отделка которого потребовала огромных расходов, и новую обстановку, стоившую полмиллиона франков. Зачем? Туллия никогда не дает объяснений, она великолепно знает силу властного женского «потому что»!

— Над Кюрси много смеялись, — заявила она, — но в конечном счете он обрел этот дом в коробке румян, в пуховке для пудры и в расшитых блестками кафтанах восемнадцатого века. Не будь меня, он никогда бы до этого не додумался, — заключила она, уютно устраиваясь у камина в глубоком кресле с подушками. Все это она сказала нам, возвратившись с первого представления одной из пьес дю Брюэля, которая имела успех, но должна была вызвать лавину фельетонов.

Туллия принимала. По понедельникам к ней собирались на чашку чая. Общество она подбирала со всей возможной для нее тщательностью и делала все для того, чтобы ее дом был приятным. В одной гостиной играли в бульот, в другой — беседовали, в третьей, самой большой, она иногда устраивала концерты — непродолжительные, но с участием самых выдающихся артистов. Необычайный здравый смысл Туллии помог ей выработать в себе очень верный такт — качество, которому она была, несомненно, обязана своим влиянием на дю Брюэля; к тому же водевилист любил ее той любовью, которую привычка превращает в жизненную необходимость. Каждый день вплетает лишнюю нить в тонкую, крепкую, всеохватывающую сеть, которая препятствует человеку проявить самое невинное свое желание, самую мимолетную прихоть; нити эти сплетаются, и человек оказывается связанным по рукам и ногам в своих чувствах и мыслях. Туллия хорошо изучила Кюрси: она знала, чем ранить его и как исцелить. Для всякого наблюдателя, даже такого, который, как я, обладает опытом, — подобного рода страсти кажутся бездной; глубины ее тонут во мраке, и даже места наиболее освещенные окутаны туманом. Кюрси, старый, истрепанный закулисной жизнью писатель, чрезвычайно ценил удобства своей новой жизни — жизни роскошной, расточительной и беспечной; он был счастлив, чувствуя себя властелином в доме, принимая знакомых литераторов в блиставшем королевской роскошью особняке, где взор радовали лучшие произведения современного искусства. Туллия позволяла ему царить в этом кружке, куда входили и журналисты, которых нетрудно было привлечь к себе дарами. Благодаря званым вечерам и деньгам, предусмотрительно дававшимся взаймы, Кюрси не подвергался особым нападкам, пьесы его имели успех. Поэтому он ни за какие сокровища не расстался бы с Туллией. Он, пожалуй, примирился бы даже с неверностью с ее стороны, лишь бы не нарушать привычного течения своей беззаботной жизни. Но, странное дело: в этом отношении Туллия не внушала ему никаких опасений. За бывшей прима-балериной не замечалось никаких увлечений, а если бы они и были, то она умела бы сохранять приличия.

— Дорогой мой, — наставительным тоном говорил дю Брюэль, прогуливаясь со мною по бульвару, — нет ничего лучше, как жить с женщиной, которая, пресытившись, отказалась от страстей. Такие женщины, как Клодина, в свое время жили по-холостяцки и сыты по горло всякими удовольствиями; они все изведали и вполне сформировались, они лишены жеманства, все понимают и прощают — это самые восхитительные жены, каких только можно пожелать. Я бы каждому посоветовал жениться на таких вот былых призовых лошадках. Я самый счастливый человек на земле. — Все это дю Брюэль говорил мне в присутствии Бисиу.

— Друг мой, — тихо сказал мне рисовальщик, — быть может, он хорошо делает, что заблуждается.

Неделю спустя дю Брюэль пригласил нас к себе во вторник на обед. Во вторник утром мне пришлось зайти к нему по делу, связанному с театром: речь шла об арбитраже, который был поручен нам комиссией драматургов.

Нам уже пора было идти, но он сначала заглянул в комнату Клодины, к которой никогда не заходит без стука, и попросил разрешения войти.

— Мы живем, как знатные особы, — сказал он мне, улыбаясь. — Каждый у себя: мы не стесняем друг друга.

Нас впустили.

— Я пригласил сегодня нескольких друзей к обеду, — сказал дю Брюэль Клодине.

— Вот как! — воскликнула она. — Вы приглашаете гостей, не предупредив меня. Я здесь ничто! Послушайте, — продолжала она, взглядом предлагая мне быть судьей, — я обращаюсь к вам. Если имеют глупость жить с женщиной такого сорта, как я, — ведь я как-никак бывшая танцовщица Оперы, да, да, — то надо постараться, чтоб люди об этом забыли; только я сама никогда не должна этого забывать. Так вот, всякий умный человек, чтобы поднять свою жену в глазах общества, постарался бы допустить в ней черты превосходства и оправдать свой выбор признанием в ней исключительных качеств! Самый лучший способ заставить других уважать ее — это самому ее уважать и относиться к ней как к истинной хозяйке дома. Ну а дю Брюэль из самолюбия боится показать, что считается со мной. Нужно, чтобы я десять раз была права, прежде чем он пойдет на уступки. — Каждая из этих фраз сопровождалась жестом негодующего отрицания со стороны дю Брюэля. — О нет, нет, — продолжала она с живостью в ответ на жестикуляцию своего супруга, — мой дорогой дю Брюэль, до замужества я всю жизнь была королевой у себя в доме и прекрасно разбираюсь в этих вещах. Мои желания угадывались, исполнялись, и как исполнялись!.. Зато теперь... Мне тридцать пять лет, а женщину в тридцать пять лет любить нельзя. О, если бы мне было шестнадцать лет и у меня было бы то, что так дорого ценится в Опере, каким бы вниманием вы меня окружили, господин дю Брюэль! Я глубоко презираю мужчин, которые хвастаются, будто любят женщину, а сами не заботятся о ней в мелочах. Видите ли, дю Брюэль, вы — человек слабый и ничтожный, вам нравится мучить женщину, — кроме нее, вам не на ком показать свою силу. Наполеон спокойно подчинился бы своей возлюбленной: ему нечего было бояться, а вы и вам подобные сочли бы себя в этом случае погибшими, — вы ведь так боитесь, чтобы вами командовали! Тридцать пять лет, дорогой мой, — продолжала она, обращаясь ко мне, — вот в чем разгадка. Смотрите, он все еще отрицает. А вам ведь хорошо известно, что мне тридцать семь. Мне очень досадно, но вам придется сказать своим друзьям, что вы поведете их обедать в «Роше де Канкаль». Я бы могла устроить обед, но я этого не хочу, и они не придут! Мой жалкий маленький монолог должен запечатлеть в вашей памяти спасительный девиз: «каждый у себя» — наше основное правило, — прибавила она со смехом, возвращаясь к своей обычной манере взбалмошной и капризной танцовщицы.

— Хорошо, хорошо, дорогая кошечка, — сказал дю Брюэль, — ну-ну, не сердись. Мы знаем, как надо жить.

Он поцеловал у нее руку, и мы вышли. Дю Брюэль был в бешенстве. Вот что он говорил мне, пока мы шли от улицы Виктуар до бульваров, если только самая грубая брань, которую может выдержать печатный станок, в силах передать его ядовитые мысли и те жестокие слова, которые яростно срывались с его языка подобно тому, как низвергается с высоты бурный водопад:

— Друг мой, я порву с этой отвратительной бесстыжей плясуньей, с этим старым заводным волчком, она извертелась на оперных подмостках, подстегиваемая модными ариями, пусть она убирается от меня прочь, — распутница, грязная мартышка. Ты ведь тоже имел несчастье связаться с актрисой, смотри не вздумай жениться на своей любовнице! Это — пытка, настоящая пытка, жаль, что Данте забыл упомянуть о ней в своем «Аде». Знаешь, я бы сейчас избил, исколотил ее, я бы ей сказал, кто она такая; она отравляет мне жизнь, она превращает меня в лакея!

Мы шли по бульвару, ярость дю Брюэля не знала границ: он заикался от волнения.

— Я растопчу ее, — хрипел он.

— За что же? — спросил я.

— Дорогой мой, ты и представить себе не можешь неисчислимых фантазий этой твари! Когда мне хочется посидеть дома, она собирается уходить, когда я хочу пойти куда-нибудь, она требует, чтобы я остался. Ах, что это за создания! Они вас засыпают всевозможными аргументами, силлогизмами, обвинениями, измышлениями, выражениями, способными свести с ума! Все добро от них, все зло от нас. Попробуйте сразить их каким-нибудь неопровержимым доводом, они замолчат и будут смотреть на вас, как на дохлого пса. Мое счастье?.. Оно достается мне ценой рабского подчинения, ценой покорности дворовой собаки. Она слишком дорого продает то немногое, что дает мне. К черту! Все оставлю ей и сбегу в мансарду. О, мансарда и свобода! Вот уже пять лет, как я сам себе не хозяин.

Вместо того чтобы пойти предупредить своих друзей, дю Брюэль расхаживал взад и вперед по бульвару между улицей Ришелье и улицей Монблан, изрыгая самые ужасные проклятья и впадая в самые смехотворные преувеличения. Охвативший его пароксизм ярости составлял резкий контраст с невозмутимым спокойствием, которое он проявлял дома. Прогулка постепенно успокоила его нервы и усмирила бушевавшую в его душе бурю. Часа в два, поддавшись очередному приступу гнева, он воскликнул:

— Эти проклятые бабы сами не знают, чего хотят. Голову даю на отсечение, — если я вернусь и скажу, что друзья мои предупреждены и мы, по ее требованию, обедаем в «Роше де Канкаль», ей это не понравится. Впрочем, — добавил он, — она, вероятно, уже удрала. Быть может, у нее свиданье с какой-нибудь козлиной бородой?! Нет, в глубине души она меня все-таки любит.

— Ах, сударыня, — сказал Натан, бросая лукавый взгляд на маркизу, которая не могла удержаться от улыбки, — только женщины и пророки умеют извлекать пользу из веры. — Дю Брюэль, — продолжал он, — опять повел меня к себе. Мы медленно подошли к дому. Было три часа. Перед тем как подняться наверх, дю Брюэль заметил какое-то движение в кухне. Войдя, он увидел приготовления к обеду и, бросив на меня многозначительный взгляд, спросил кухарку, что она делает.

— Барыня заказала обед, — ответила та. — Барыня оделась, велела послать за экипажем, потом передумала и отослала экипаж, приказав подать его к началу спектакля.

— Ну? — воскликнул дю Брюэль. — Что я тебе говорил?

Мы осторожно вошли в квартиру. Никого. Миновав гостиные, мы очутились в будуаре, где застали Туллию в слезах. Без всякой рисовки она вытерла глаза и сказала дю Брюэлю: «Пошлите в «Роше де Канкаль» записку с просьбой предупредить приглашенных, что обед будет у нас дома». На Туллии был туалет, какого не увидишь на актрисе: он поражал своим изяществом, гармонией покроя и тонов, благородной простотой, со вкусом выбранной материей — ни слишком дорогой, ни слишком простенькой; ничего кричащего, ничего экстравагантного или, как глупцы говорят, «артистического». Словом, туалет безукоризненный. В тридцать семь лет красота Туллии, как это свойственно многим француженкам, достигла своего расцвета. Ее лицо с прославленным овалом в эту минуту было божественно бледно. Она сняла шляпку, и мне был хорошо виден легкий пушок, подобный тому, что покрывает персики, он еще более смягчал необыкновенно изящные контуры ее щек. Лицо ее, обрамленное белокурыми локонами, выражало и грусть, и нежность. Серые лучистые глаза были затуманены слезами. Тонкий нос с трепещущими ноздрями, достойный украсить собой самую прекрасную римскую камею, маленький, почти детский рот, стройная царственная шея с чуть набухшими венами, подбородок, покрасневший от какой-то тайной тревоги, порозовевшие по краям уши, дрожавшие, затянутые в перчатки руки — все выдавало сильное душевное волнение. Нервное движение бровей изобличало скрытую душевную боль. В эту минуту она была прекрасна. Дю Брюэль был подавлен ее словами. Туллия бросила на нас проницательный и непроницаемый кошачий взгляд, свойственный лишь светским женщинам и актрисам; затем она протянула руку дю Брюэлю.

— Мой бедный друг, едва ты ушел, я осыпала себя тысячью упреков. Я обвиняла себя в самой черной неблагодарности, в том, что дурно себя вела! Я ведь очень дурно вела себя, правда! — обратилась она ко мне. — В самом деле, почему нам не принять твоих друзей? Разве ты не хозяин у себя дома? Хочешь знать разгадку всего этого? Так вот: я боюсь, что ты не любишь меня. Я колебалась между раскаянием и ложным стыдом, мешавшим признать свою неправоту. В газетах я прочла, что в театре Варьете сегодня премьера. Я решила, что ты, должно быть, захотел переговорить с кем-либо из сотрудников. Одна, я была слаба. Я оделась, чтобы бежать за тобой, мой бедный котик.

Дю Брюэль посмотрел на меня с победоносным видом. Он уже не помнил ни одного слова из всех своих утренних обличительных речей «*противу* Туллии».

— Нет, мой ангел, — сказал он, — я ни у кого не был.

— Как мы понимаем друг друга! — воскликнула она.

В тот момент, когда она произносила эти восхитительные слова, я заметил выглядывавшую у нее из-за пояса записку. Но мне и без того было ясно, что фантазии Туллии зависят от каких-то таинственных причин. Женщина, на мой взгляд, самое целеустремленное существо и уступает в этом отношении только ребенку. И женщина и ребенок — великолепный образец постоянного торжества сосредоточенной мысли. Хотя мысль ребенка меняется каждое мгновение, он с таким жаром стремится осуществить ее, что всякий невольно уступает ему, побежденный этой непосредственностью и силой желания. Мысль женщины меняется не так часто, и назвать ее взбалмошной способен только невежда. Всеми ее поступками руководит страсть. Наблюдаешь и поражаешься тому, как стремится она превратить эту страсть в центр вселенной. Туллия ластилась к дю Брюэлю, как кошка; семейный небосклон прояснился, и вечер прошел великолепно. Остроумный водевилист не замечал печали, таившейся в сердце его жены.

— Дорогой мой, — сказал он мне, — вот это — жизнь! Столкновения, контрасты!

— В особенности, когда это не разыграно, — заметил я.

— Я все понимаю, — ответил он. — Но без таких сильных ощущений можно было бы умереть со скуки. Ах, эта женщина обладает даром волновать меня!

После обеда мы отправились в Варьете; перед уходом я проскользнул в кабинет дю Брюэля и взял там со стола, среди груды различных ненужных бумаг, номер «Листка объявлений», где было помещено извещение о произведенной дю Брюэлем покупке особняка — обязательная формальность. В глаза мне бросились слова «По ходатайству Жана-Франсуа дю Брюэля и Клодины Шафару, его супруги...»; и это объяснило мне все. Спускаясь по лестнице, я взял Клодину под руку и постарался пропустить остальных вперед. Когда мы оказались одни, я сказал: «На месте ла Пальферина я никогда бы не отказался от свиданья». Клодина со значительным видом приложила палец к губам и спустилась вниз, пожав мне руку; она смотрела на меня с видимым удовольствием, зная, что я знаком с ла Пальферином. Знаете, какая мысль ей пришла? Она захотела сделать из меня своего соглядатая, но встретила лишь обычную для богемы шутливость.

Месяц спустя мы все вместе выходили из театра после первого представления новой пьесы дю Брюэля. Шел дождь. Я отправился на поиски фиакра: мы задержались на несколько минут в театре, и когда вышли, то у входа уже не оказалось ни одного экипажа. Клодина принялась бранить дю Брюэля и даже по дороге (они должны были завезти меня к Флорине) все еще продолжала ссору, говоря ему самые оскорбительные вещи.

— Что случилось? — спросил я.

— Дорогой мой, она бранит меня за то, что я разрешил вам сбегать за фиакром, и требует, чтобы у нее был собственный выезд.

— Когда я была прима-балериной, я утруждала свои ноги только на подмостках. Если вы человек благородный, вы сумеете сочинять по четыре лишних пьесы в год, зная, для какой цели они предназначаются, и ваша жена не будет больше шлепать по грязи. Какой стыд, что я должна просить об этом! Вы и сами могли бы догадаться о моих постоянных страданиях в продолжение пяти лет нашего супружества.

— Хорошо, я заведу выезд, но мы разоримся, — ответил дю Брюэль.

— Если придется наделать долгов, мы покроем их из наследства дядюшки, — сказала Клодина.

— Но ведь вы можете взять наследство себе, а мне оставить долги.

— Ах, вот вы как думаете? — возмутилась она. — В таком случае, я умолкаю. Больше мне говорить с вами не о чем.

Дю Брюэль рассыпался в извинениях, в уверениях в любви — она не отвечала. Он взял ее руки, она их не отняла, но руки были холодны и безжизненны, как у покойницы.

Туллии прекрасно удавалась эта роль существа безжизненного, которую, как вы знаете, так любят разыгрывать женщины, когда хотят доказать вам, что они отрекаются от собственных желаний, жертвуют своей душой, своим разумом, своей жизнью и смотрят на себя, как на вьючное животное. Ничто не действует так на мягкосердечного человека, как этот прием. Но женщины могут применять его только с теми, кто их обожает.

— Разве можно себе представить, — спросила она меня с невыразимо презрительным видом, — чтобы какой-нибудь граф высказал столь оскорбительное предположение, если бы даже он так думал. К несчастью, я была близка с герцогами, посланниками, вельможами, и мне известно их обращение. Как невыносима мещанская жизнь! Но, конечно, водевилист — это не Растиньяк и не Реторе...

Дю Брюэль был бледен как мертвец. Дня через два я встретил его в фойе Оперы; мы прогуливались вместе с ним; разговор коснулся Туллии.

— Не принимайте всерьез мои безумные слова, сказанные на бульваре, — обратился он ко мне. — Я очень вспыльчив.

Последние два года я довольно часто бывал у дю Брюэля и имел возможность внимательно наблюдать за ловкими маневрами Клодины. Вскоре у нее уже был блестящий выезд; дю Брюэль ударился в политику: она сумела заставить его отречься от прежних роялистских взглядов, он присоединился к сторонникам новой монархии и опять был водворен в ведомство, где когда-то служил. Клодина заставила его добиваться избрания в состав Национальной гвардии, и он был избран командиром батальона. Во время подавления одного мятежа он сумел отличиться и был награжден офицерским крестом ордена Почетного легиона и назначен докладчиком Государственного совета и начальником отделения. Дядюшка Шафару умер, оставив племяннице сорок тысяч франков ренты — около трех четвертей своего состояния. Дю Брюэль был избран депутатом, но прежде, чтобы не зависеть от переизбрания, он добился своего назначения на должность государственного советника и директора. Он переиздал свои археологические заметки, статистические работы и две политические брошюры, которые послужили поводом для его принятия в члены одной из снисходительных французских академий. В настоящее время он — командор ордена Почетного легиона и благодаря активному участию в интригах палаты только что получил звание пэра Франции и графский титул. Пока он еще не решается носить этот титул, но супруга его заказала себе визитные карточки, на которых напечатано: «Графиня дю Брюэль». Бывший водевилист имеет орден Леопольда, орден Изабеллы, крест Святого Владимира второй степени, баварский орден Гражданских заслуг, папский орден Золотой Шпоры — словом, у него немало мелких крестов помимо большого.

Месяца три назад Клодина подкатила к дому ла Пальферина в блестящем, украшенном гербом собственном экипаже. Дю Брюэль — внук откупщика, получившего дворянство в конце царствования Людовика Четырнадцатого; герб его был составлен Шереном, и графская корона вполне приличествует этому гербу, в котором нет ничего от нелепых гербов Империи. Итак, в три года Клодина выполнила все условия программы, которые предложил ей очаровательный шутник ла Пальферин. И вот однажды, с месяц тому назад, она поднимается по лестнице невзрачного дома, где живет ее возлюбленный, и во всем своем блеске, одетая, словно настоящая графиня из Сен-Жерменского предместья, взбирается в мансарду своего друга. При виде Клодины ла Пальферин заявляет:

— Я знаю, ты добилась для своего мужа звания пэра. Но слишком поздно, Клодина; все толкуют мне о Южном кресте, я хотел бы полюбоваться на него.

— Я добуду его для тебя, — ответила она.

Ла Пальферин разразился гомерическим хохотом.

— Нет, — сказал он, — я решительно не желаю иметь любовницей женщину невежественную, как индюшка, хотя ты, словно сорока, делаешь прыжки от кулис Оперы до двора, ибо я хочу видеть тебя при дворе короля-гражданина.

— Что это за Южный крест? — печально и смиренно спросила она меня.

Охваченный восторгом перед этим бесстрашием истинной любви, которая в реальной жизни, как в волшебных сказках, без колебаний бросается в бездну, чтобы добыть поющий цветок или перо Жар-птицы, я объяснил ей, что Южный крест — это скопление звезд в форме креста, более яркое, чем Млечный Путь, и видимое лишь в южных морях.

— Ну что ж, Шарль, — сказала она, — поедем туда.

Несмотря на свойственную ла Пальферину жестокость, на глазах его выступили слезы. Но какой взгляд и какой голос был у Клодины! Ни у одного из величайших актеров я не встречал ничего, что можно было бы сравнить по силе драматизма с движением Клодины, которая при виде слез, затуманивших этот всегда суровый для нее взгляд, упала на колени и приникла поцелуем к руке безжалостного ла Пальферина. Он поднял ее и, приняв величественный вид, который он называет осанкой Рустиколи, сказал:

— Полно, дитя мое, я что-нибудь сделаю для тебя. Я... упомяну тебя в своем завещании.

— Так вот, — сказал в заключение Натан г-же де Рошфид, — спрашивается, остался ли в дураках дю Брюэль? Конечно, нет ничего более смешного и странного, чем видеть, как молодой повеса шутки ради распоряжается судьбами супружеской четы, устанавливая свои законы и требуя исполнения малейших своих капризов, в угоду которым отменяются самые важные решения. Случай с обедом, как вы догадываетесь, повторялся еще не раз в самых разнообразных вариантах и в отношении самых серьезных вопросов! Но не будь всех этих причуд его жены, дю Брюэль до сих пор оставался бы просто водевилистом Кюрси, подобным сотням других писак; между тем он заседает теперь в палате пэров...»

— Надеюсь, вы измените имена, — сказал Натан г-же де ла Бодрэ.

— Конечно, — ответила она, — ради вас я скрою настоящие имена. Дорогой Натан, — прибавила она на ухо поэту, — я знаю другую семью, где роль дю Брюэля принадлежит жене.

— А развязка? — спросил Лусто, вошедший в ту минуту, когда г-жа де ла Бодрэ заканчивала чтение своего рассказа.

— Я не верю развязкам, — ответила г-жа де ла Бодрэ. — Их надо придумать несколько, да получше, чтобы показать, что искусство не уступает в силе случаю. Ведь литературное произведение, мой дорогой, перечитывают только ради подробностей.

— Развязка, однако, есть, — сказал Натан.

— Какая же? — спросила г-жа де ла Бодрэ.

— Маркиза де Рошфид без ума от Шарля-Эдуарда. Мой рассказ подстрекнул ее любопытство.

— Несчастная! — воскликнула г-жа де ла Бодрэ.

— Не столь уж несчастная! — ответил Натан. — Максим де Трай и ла Пальферин поссорили маркиза де Рошфид с госпожой Шонтц и собираются помирить Артура с Беатрисой. (См. «Беатриса» — «Сцены частной жизни»).

*1839–1845 гг.*

1. Поклонник (*ит.*). [↑](#footnote-ref-1)
2. Власть стариков. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Tuсco* Пьер (1768—1854) — профессор литературы и либеральный публицист. [↑](#footnote-ref-3)
4. Государевы посланцы (*лат.*). [↑](#footnote-ref-4)
5. *Лозен* — придворный Людовика XIV, приобрел скандальную известность своими любовными приключениями. [↑](#footnote-ref-5)
6. Франк содержит двадцать су. [↑](#footnote-ref-6)
7. *...больше отдает Оленьим парком, чем отелем Рамбулье.* — Олений парк — название особняка, принадлежавшего Людовику XV, где устраивались тайные оргии. Отель Рамбулье — аристократический кружок XVII века, был законодателем дворянской моды жеманного, претенциозного стиля в разговоре и в литературе. Завсегдатаи отеля Рамбулье, принадлежавшего г‑же де Рамбулье, увлекались поэзией, воспевавшей изысканную платоническую любовь. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Сирано.* — Речь идет о французском писателе Сирано де Бержераке (1619—1655). [↑](#footnote-ref-8)
9. *Миф о Данае.* — По греческой мифологии, Зевс сочетался браком с аргосской царевной Данаей, снизойдя на нее в виде золотого дождя. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Арну* София (1744—1802) — французская оперная певица. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Дютэ* Розали (1752—1820) — французская танцовщица и куртизанка. [↑](#footnote-ref-11)